

УДК 821.161.1

## РОМАН ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ОБИТЕЛЬ» В КОНТЕКСТЕ ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА

© Александр Большев

### “RESIDENT” BY ZAKHAR PRIPEPIN IN THE CONTEXT OF RUSSIAN CAMP PROSE OF THE 20<sup>TH</sup> CENTURY

Aleksandr Bolshev

The article examines possible pretexts of Zakhar Prilepin's "Resident" from among the works, falling into the category of Russian camp prose of the late 20<sup>th</sup> century. The plot is based on the story of a young man (called Artem Goryainov) who goes to Solovetsky camp for involuntary manslaughter of his father. At first, Prilepin's hero is buoyant, brave and lucky, but the stay in the camp's icebox called Sekirke starts a devastating destruction of his character. Artem literally loses himself, and this psychological disaster becomes the key development of the novel.

The article unveils the analysis of the works by Dombrovsky, Shalamov, Dovlatov and Leonov, which touch upon similar topics of a human decline in the camp conditions, The author conducts an intertextual dialogue with these works, which seems to have been planned by Prilepin. The destruction of Goryainov's character manifests features similar to both "the duality of the soul" that destroyed Kornilov, the hero of Dombrovsky's dilogy, and the disastrous processes that stripped Shalamov's characters of all and any humanity, as well as Dovlatov's concept of the man's fatal dependency on his surroundings and circumstances, and the idea of man being forsaken by God, which is very important for Leonov's works. Studying the respective connections of motives and associative parallels of meaning allows for a deeper reading of Prilepin's novel and its world.

*Keywords:* camp prose, pretexts, personality destruction, godforsakenness.

В статье подробно рассмотрены возможные претексты романа З. Прилепина «Обитель» из числа произведений, относящихся к русской тюремно-лагерной прозе второй половины XX века. Основу сюжета «Обители» составляет история молодого человека (его зовут Артем Горяинов), попавшего в Соловецкий лагерь за непреднамеренное убийство отца. Прилепинский герой поначалу жизнелюбив, храбр и удачлив, однако пребывание в ледяном лагерном карцере Секирке оборачивается для него катастрофической деструкцией личности. Артем буквально теряет себя, и эта ментальная катастрофа становится ключевым событием романа.

В статье развернут анализ затрагивающих во многом сходную проблематику, связанную с ситуацией деградации человека в тюремно-лагерных условиях, произведений Ю. Домбровского, В. Шаламова, С. Довлатова, Л. Леонова, интертекстуальный диалог с которыми, судя по всему, входил в замысел автора «Обители». Личностная деструкция Горяинова обнаруживает черты сходства и с «дуализмом души», погубившим Корнилова, героя дилогии Домбровского, и с разрушительными процессами, лишаящими человеческих черт шаламовских персонажей, и с довлатовским концептом фатальной зависимости человека от окружающих обстоятельств, и с идеей человеческой богооставленности, столь значимой для художественных текстов Леонова. Изучение соответствующих мотивных связей и ассоциативно-смысловых параллелей позволяет глубже проникнуть в художественный мир прилепинского романа.

*Ключевые слова:* тюремно-лагерная проза, претексты, деструкция личности, богооставленность.

Как известно, Захар Прилепин не просто писатель, но и квалифицированный филолог-литературовед, блестящий знаток отечественной словесности, поэтому неудивительно, что роман «Обитель» (2014), действие которого происходит в Соловецком лагере, написан с основательной

оглядкой на топику и аксиологию русской тюремно-лагерной прозы второй половины XX века.

Основу большинства текстов тюремно-лагерной прозы составляет инвариантная ситуация борьбы за существование, которую ведет

главный герой, при этом, не ограничиваясь задачами физиологического выживания, он пытается сохранить себя как человеческую личность. Самыми тяжелыми испытаниями, которые приходится преодолевать герою, оказываются голод, холод, непосильный физический труд, а также и неизбежные конфликты, возникающие у него как с начальством, так и с уголовниками-блатарями. Еще одна проблема, с которой сталкиваются практически все персонажи лагерной прозы, – доносительство: герой нередко становится жертвой доносчиков, его самого пытаются завербовать в «стукачи». Любовные коллизии в лагерной прозе возникают в тех несчастных случаях (например, в «Крутом маршруте» Е. Гинзбург), когда персонажу удается избавиться от общих тяжелых работ и сделаться так называемым придурком, то есть трудиться в тепле и жить в условиях относительного материального достатка. Разумеется, каждый автор подобной прозы, рисуя картины лагерного беспредела, предлагает читателю свой вариант ответа на вопрос о природе и первопричинах зла.

Главный герой «Обители» – двадцатисемилетний московский недоучившийся студент Артем Горяинов, попавший на Соловки за нелепое непреднамеренное убийство собственного отца. Артем поначалу жизнелюбив, обаятелен, храбр; не позволяя себя унижать ни блатным, ни начальству, он без долгих раздумий пускает в ход кулаки, вследствие чего вскоре наживает себе как друзей-доброжелателей, так и врагов. Помучавшись на общих работах с пнями и баланами (так зеки именуют сплавляемые по реке древесные стволы), Артем начинает поиски «другого места обитания» [Прилепин, 2015, с. 119] и быстро добивается успеха: после недолгого пребывания в спортсекции он обратил на себя благожелательное внимание начальника лагеря Эйхманиса, а затем ловко вступил в любовную связь с пытавшейся завербовать его в доносчики чекисткой Галиной. При этом герой пытается не столько достичь каких-то карьерных высот, сколько отыскать в лагерной жизни какую-то безопасную нишу: *«попасть в некий зазор, затаиться, пропасть – и тебя могут не заметить, забыть»* [Там же, с. 397].

Однако затем в судьбе Артема неожиданно наступил резкий перелом. Сначала в ходе чекистских разборок Артема заставляют зарывать трупы и мыть кровавые сапоги палачей: похоже, именно в этот момент герой начал терять спокойствие, как будто содрогнувшись от соприкосновения с преисподней. И действительно, в дальнейшем Артем словно бы погружается все глубже и глубже в непрерывно стужающийся

инфернальный мрак: на смену одному кошмару приходит другой, еще более жуткий – и так далее по нарастающей. Герой попадает в карцер Секирку, где людей подвергают изощренным истязаниям. Узников карцера периодически расстреливают, о чем заранее предупреждает звон колокольчика. Однажды для забавы чекисты привязали колокольчик к бегающей собаке, в результате же непрерывный страшный звон доводит зеков до массовой истерики: под руководством двух священников начинается стихийный невротический ритуал коллективного признания в грехах. В мазохистской акции покаяния не захотел участвовать только Артем:

«Здесь я! Здесь!» – отзывался на всякий грех Артем, не ведая и не желая раскаяния в них [Там же, с. 561].

Обнаружив под побелкой на стене лик христианского святого, Артем под влиянием неудержимого деструктивно-эпатажного порыва ложкой уродует изображение. За это демонстративное кощунство все секирские узники бросаются на него, бьют, пытаются убить.

Но самым страшным испытанием в Секирке оказался для прилепинского героя холод. Выдержавший несколько жестоких избиений, не убоившийся ни убийц-блатарей, ни чекистских палачей, Артем ничего не может поделать с пыткой секирским холодильником и погружается в состояние *«болезненного оцепенения духа»* [Там же, с. 514]:

Промерзла не только вся кожа, но и внутренности – он чувствовал, как холодно и пусто в животе, в паху, в груди, и мозг выглядел как размораживаемое мясо <...> [Там же, с. 555].

Все познается в сравнении, и, оказавшись в ледяном аду, Артем не может без смеха вспомнить жалкий дрын комвзвода Крапина, да и на зубодробительные допросы к двум изощренным садистам Горшкову и Ткачуку готов помчаться бегом хоть сейчас:

Холод же был страшнее и Ткачука, и Горшкова – про холод нельзя было пошутить, разум отказывался видеть в этом хоть что-то забавное <...> [Там же, с. 506].

Из Секирки Артем выходит уже необратимо деформированным, и надлом усугубляется во время отчаянного побега с Галиной на катере – в бесконечной ледяной мгле моря герой окончательно себя теряет:

Он словно бы окончательно растерял себя на непрерывном сквозняке последних двух суток – остались какие-то клочки, обрывки, сколки – в которых никто не признал бы прежнего Артема [Там же, с. 619].

Последний всплеск активности Артема случился в карцере, куда его отправили после плавания и где он оказывается в окружении знакомых чекистов-палачей, которые совсем недавно мучали его и которых теперь одного за другим расстреливают по приговору комиссии, расследовавшей соловецкие злоупотребления. Артем без страха глумится над садистами, вмиг полинявшими, превратившимися в жалких ничтожеств. Герою кажется, что его личностный кризис преодолен, ночью он видит своего ангела.

Артем объяснял себе: в меня возвращается человек <...> [Там же, с. 679].

Но «возвращения человека» не произошло. Несмотря на то что дерзкая попытка побега осталась практически незамеченной и Артему в результате добавили всего лишь три года к первоначальному сроку (при том, что дел он наворотил сразу на несколько расстрельных приговоров), его жизнь фактически завершилась. Герой превратился в бледную тень прежнего Артема:

Все в лице Артема стало мелким: маленькие глаза, никогда не смотрящие прямо, тонкие губы, не торопящиеся улыбаться. Мимика безличностная, стертая. Не очень большой, но очень здоровый человек. <...> Слова, произносимые им, – редкие, куцые, как бы их фантики, – ни одно ничего не весит, ни за какое слово не поймает: дунет ветер, и нет этого слова. Лучше вообще без слов. <...> Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся на опасных и остальных. И к тем и к другим он не испытывает никаких чувств. Люди – это люди, к ним больше нет никаких вопросов. <...> Он никогда не считает оставшихся дней своего срока, он – насыщенный днями прежней жизни. Но и той жизни не помнит. Память – как простуда, от нее гудит голова и слезятся глаза. Его жизнь разрублена лопатой, как червь: оставшееся позади живет само по себе. Его детство не просится назад [Там же, с. 686–687].

Итак, следует признать, что именно внезапная и загадочная трансформация личности главного героя является ключевым событием романа, соответственно, интерпретация «Обители» невозможна без осмысления произошедшей деформации.

Существенная особенность прилепинского романа в сравнении с предшествующей литературой о лагерях состоит в том, что в нем напрочь отсутствуют рыцари коммунистической утопии,

большевики-коминтерновцы с горящими глазами, мечтающие о торжестве Мировой революции и всеобщем братстве народов и людей. Персонажей, подобных Льву Рубину («В круге первом» А. Солженицына) или Циммерманше («Крутой маршрут» Л. Гинзбург), у Прилепина нет ни среди зеков, ни среди представителей лагерной администрации, в грядущую коммунистическую гармонию здесь никто не верит. Бывший офицер Василий Петрович в одном из эпизодов поминает недобрым словом большевистских идеалистов, надеющихся на превращение уголовников в высокоморальных индивидов, но среди персонажей романа таких мечтателей не обнаруживается. Мысль о гипотетической возможности гармонизации земного бытия коммунистами высказывает в романе священник Иоанн:

Будет великое чудо, если советская власть переломит все обиды, порвет все ложные узы и сможет построить правильное общежитие! [Там же, с. 159].

Но эта фраза просветленного героя-праведника носит явно неискренний характер и, вероятнее всего, адресована недремлющим соловецким стукачам.

Воплощением предельного трезвомыслия предстает прежде всего начальник лагеря Эйхманис. Трудно согласиться с Д. Быковым, который в статье «Переplava, переplava» высказал мысль о том, что тюрьма для Эйхманиса – «не место, где отбывают наказание, а лаборатория по тайному выведению революционного гомункула» [Быков]. Федор Эйхманис действительно говорит о Соловках, что «это не лагерь, это лаборатория» [Прилепин, 2015, с. 268], но явно не разделяет веру в Нового Человека. Он убежден, что Россию ожидает отнюдь не коммунизм, а страшная война:

Страну ждет война! Из мужика давят все соки! Из пролетариата – давят! А вас нужно оставить в покое? [Там же, с. 273].

Таким образом, новый человек, рожденный в соловецкой «лаборатории», – это, в понимании Эйхманиса, не коммунистический гомункул, а скорее прошедший сквозь горнило зубодробительных ледяных карцеров свирепый воин, готовый к смертельной геополитической схватке.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Кстати сказать, подобного рода трактовка сталинских репрессий в качестве некоего испытания, необходимого для выявления (а отчасти для формирования) бесстрашных и ко всему готовых бойцов предстоящей войны, отчасти восходит к роману самого Д. Быкова «Оправдание» (2001).

Многие критики обратили внимание на то, какую непривычно важную для тюремно-лагерной литературы роль играет в конструкции «Обители» авантюрный хронотоп. Сам Прилепин в этой связи назвал возможным художественно-идеологическим ориентиром знаменитую дилогию Ю. Домбровского: «Если брать прозу, которая повлияла, то, может, это Домбровский. Он о лагере пишет не как Солженицын или Шаламов, а как Джек Лондон» [Интервью с Захаром Прилепиным]. Действительно, до поры до времени похождения отчаянного и фартового, как будто хранимого высшими силами Артема Горяинова отчасти напоминают историю Зыбина, полуавтобиографического героя знаменитой дилогии Домбровского. Разумеется, в плане культурного развития поверхностно начитанный студент Горяинов и в подметки не годится блистательному «хранителю древностей», речь идет лишь об одинаково присущей двум героям авантюрно-хулиганской жилке, о готовности давать отпор любому: не унывая и не раздумывая, бить и блатаря, и надзирателя. Впрочем, с Зыбиным можно сравнить того Артема, каким он предстает в первой половине «Обители». В конце же он, скорее, напоминает зыбинского антипода Корнилова, сползающего к предательству.

Допуская факт воздействия, которое, возможно, оказала проза Домбровского на прилепинский роман, зададимся вопросом: ограничилось ли это влияние только сюжетно-событийной сферой, или можно обнаружить какие-то точки соприкосновения также и на смысловом, идейно-концептуальном уровне?

В этой связи отметим, что у Домбровского важнейшую функцию выполняет мотив раздвоения личности, который развернут и в «Обители». По убеждению автора «Факультета ненужных вещей», «дуализм души» губителен для индивида и необратимо ведет к моральному падению: жертвами подобного раздвоения становятся герои романа «Факультет ненужных вещей» Корнилов и Куторга. Эта мысль предельно четко сформулирована Домбровским в известном письме к С. Тхоржевскому: «Хорошо, а как Вы думаете, что такое бездна? Бездна падения? Глубина его? Да ничего подобного – это просто дуализм души. Ее разрубили колуном на две части, и они разъехались настолько, что между ними и пролегла эта бездна. Беспредельность разделения, несвязуемость прежнего добра и нового зла – вот что такое, по-моему, бездна» [Тхоржевский, с. 195–196]. Наиболее ярко и отчетливо мотив раздвоения личности представлен у Домбровского в образе странной и страшной фигур-

ки Дон Кихота-Мефистофеля, которую показывает предатель Куторга предателю Корнилову:

Это был бюст Дон Кихота. Он, пожалуй, ничем существенным не отличался от образа, созданного Доре и после него повторенного сотни раз художниками, карикатуристами, скульпторами, оперными и драматическими актерами. Та же лепка сухого благородного лица, те же усы и борода, тот же самый головной убор. Но этот Дон Кихот смеялся: он высывал язык и дразнил. Он был полон яда и ехидства. Он торжествовал. Он сатанински торжествовал над кем-то. И был он уже не рыцарем Печального Образа, а чертом, дьяволом, самим сатаной. Это был Дон Кихот, тут же на глазах мгновенно превращающийся в Мефистофеля [Домбровский, с. 400–401].

Трактовка деградации личности человека как процесса разделения его души на две половины, между которыми пролегал «бездна» и которые ведут автономные существования (невольно вспоминается стивенсоновская притча о докторе Джекиле и мистере Хайде), возможно, оказала определенное (скорее опосредованное, чем прямое) влияние на Прилепина. Впрочем, это не более чем предположение.

Гораздо более убедительной и явной представляется связь «Обители» с шаламовской линией отечественной тюремно-лагерной прозы XX века, основанной на посыле, суть которого в том, что сталинский лагерь явил собою чудовищный разлив зла, глубоко укорененного в самой природе человека. Лагерь, по Шаламову, обнажил то, что заботливо камуфлировали цивилизация и культура, – голую человеческую суть. Пресловутая доброта человека – всего лишь производное от сытости и материального благополучия. Человек гуманен при наличии достатка и тепла, а в условиях колымского ледяного мрака и алиментарной дистрофии он мгновенно превращается в злобное животное.

«Я не хочу, чтобы меня кто-то писал через запятую после Шаламова», – подчеркнул Прилепин в одном из интервью [Интервью...], однако невозможно отрицать, что именно «Колымские рассказы» представляются наиболее очевидным претекстом «Обители». В шаламовской прозе человеческая природа оказывается объектом глубокого художественно-философского экспериментирования, в результате же обнаруживается, что подлинной первоосновой ее является «равнодушная злоба». Именно «равнодушной злобой» и живут многие герои «Колымских рассказов». И у Прилепина с самого начала истинные глубинные свойства личности, так называемые «врожденные чувства», противопоставляются наносным, поверхностным чертам и свойствам –

«представлениям», которые исчезают, улечаются, как шелуха, вместе с сытостью и теплом. Антиномию представлений и врожденных чувств быстро начинает постигать главный герой «Обители»:

На Соловках Артем неожиданно стал понимать, что выживают, наверное, только врожденные чувства, которые выросли внутри, вместе с костями, с жилами, с мясом, – а представления рассыпаются первыми [Прилепин, 2015, с. 113].

Артем пытается проникнуть сквозь внешние напластования к глубинному ядру человеческой личности:

<...> Какие все люди непонятные, – думал Артем. – Никого понятного нет. Внутри внешнего человека всегда есть внутренний человек. И внутри внутреннего еще кто-нибудь есть [Там же, с. 329].

В полном соответствии с шаламовской антропологией, привлекательные и симпатичные черты людей зачастую оказываются «представлениями», в глубине же человеческой личности обнаруживается ад:

Артему неведомо кем заранее было подсказано, что каждый человек носит на дне немного ада: пошевелите кочергой – повалит смрадный дым. Сам он махнул ножом и взрезал, как овце, горло своему отцу. А Василий Петрович драл щипцами Горшкова – ну что ж теперь [Там же, с. 486].

Именно образ Василия Петровича служит наиболее яркой иллюстрацией к послы об аде, обнаруживающемся в невротических глубинах большинства человеческих личностей. Этот герой долгое время представляется милым и симпатичным интеллигентом, потомком дворянского рода, как будто сошедшим со страниц тургеневской прозы. Он произносит красивые монологи об утрате русским народом веры, учит Артема уважительному отношению к представителям духовенства, надеется, что святость вернется в Соловки. Но затем выясняется, что Василий Петрович раньше служил в колчаковской контрразведке, где прославился особой жестокостью. В Секирке он предстает уже в своем подлинном инфернально-демоническом облике:

Это был другой Василий Петрович, такого Артем никогда не встречал <...> [Там же, с. 508].

Следы шаламовского влияния можно обнаружить и в той части «Обители», где речь идет о возвращении героя из секирского ада. Вызволив Артема из карцера, Галина спрашивает, любит

ли он ее, но герою «отвечать на вопрос было нечем: не находилось в языке такого слова» [Там же, с. 580].

Может быть, я правда ее люблю? <...> Или как в моем случае называется то чувство, которое у людей зовется «любовью»? [Там же, с. 602].

Нельзя не признать, что перед нами типично шаламовская ситуация непреодолимого коммуникативного барьера: герой вернулся из мира мертвых и не может вести диалог с представителями мира живых, потому что больше не ощущает себя человеком – не находит в человеческом языке слов, адекватных своему новому заморскому опыту.

Существенное отличие «Обители» от «колымской прозы» состоит в том, что в фокусе внимания Прилепина отнюдь не трансформация человеческого существа в дикаря и зверя. Артем утрачивает не столько доброту и способность любить ближнего, сколько свою «самость». Происходит деструкция личности – от индивида не остается буквально ничего. Ситуация странного превращения яркой индивидуальности в безличное ничто невольно заставляет вспомнить еще один возможный претекст «Обители» из круга тюремно-лагерной прозы – «Зону» С. Довлатова. Конкретно же я имею в виду набранные курсивом антропологические размышления, которые сам автор «Зоны» назвал «трактатом». В довлатовском «трактате» развернута достаточно оригинальная (впрочем, обнаруживающая следы влияния так называемого атеистического экзистенциализма) концепция человека, ставшая результатом осмысления лагерного опыта; суть ее состоит в том, что все привычные систематики человеческих типажей фантазийны, ибо каждый человек есть производное от окружающих его обстоятельств:

*Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также – на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже – на мужчин и женщин. Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в лагере – особенно. <...> В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему или к худшему. От лучшего к худшему и наоборот. <...> Есть – движение, в основе которого лежит неустойчивость. Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством. Пространством меняющихся обстоятельств [Довлатов, с. 57–58].*

Довлатов подчеркивает, что именно служба лагерной зоне с предельной яркостью обнажила для него фактор зависимости человека от обстоятельств. Так, заключенные по своим духовно-

интеллектуальным качествам практически ничем не отличались от охранников:

*Мы были похожи и даже – взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. <...> Все мои истории написаны об этом... [Там же, с. 63–64].*

Отрицая фактор врожденной предрасположенности индивида к добру или злу, автор «Зоны» доказывает, что «зло произвольно»:

*<...> его определяют – место и время. А если говорить шире – общие тенденции исторического момента. Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности. Неудачным стечением обстоятельств [Там же, с. 87].*

Довлатов полагает, что существуют некоторые исключения из этого правила, но настаивает на том, что они крайне немногочисленны. Довлатовский трактат о человеке завершается эффективными афористическими дефинициями:

*Поэтому меня смещит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку – друг, товарищ и брат... Человек человеку – волк... И так далее. Человек человеку... как бы это получше выразиться – табула раса. Иначе говоря – все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств [Там же, с. 88].*

Надо сказать, что поведение автопсихологического героя «Зоны» Бориса Алиханова служит наглядной иллюстрацией к «трактату о человеке» – его личность лишена структурной целостности и воистину являет собой производное от окружающих обстоятельств. Надзиратель Алиханов предстает двуликим Янусом: то он беззаветный рыцарь законности, готовый принять смерть ради торжества уголовно-процессуальной справедливости, а то завзятый разгильдяй, пьянствующий с заключенными и устраивающий зубодробительную драку с сослуживцами. Характер довлатовского героя – действительно «табула раса», он вмещает в себя «все, что угодно», поскольку лишен каких-либо устойчивых доминант.

Не напоминает ли отчасти герой «Зоны» Артема Горяинова? Возможно, именно фактор «табула раса» имел в виду Прилепин в одном из интервью, настойчиво именуя своего персонажа «голым»: «Почему он голый в финале романа? Как он шел по жизни голый, так и умер голый. <...> Он немножко святой, немножко предатель: но не столько других людей, сколько себя само-

го. <...> Он голый не потому, что он без свойств, а потому, что он со всеми свойствами одновременно» [Интервью...].

Тем не менее следует признать, что метаморфоза Артема Горяинова не укладывается в рамки «атеистического экзистенциализма», печатью влияния которого отмечена довлатовская «Зона». Трагическая судьба прилепинского героя явно таит в себе какие-то темные метафизические глубины. Перед нами личность, которая ведет загадочную тяжбу не столько с соловецкими чекистами и блатарями, и даже не столько с персональными травматическими неврозами, сколько с самим Богом – и убийство отца оказывается важным слагаемым этой мистериальной коллизии.

С самого начала бросается в глаза, что Артем, постоянно размышляя о Боге, категорически отвергает христианство, и в этом плане очень характерен его решительный отказ принять Евангелие в дар от соловецкого праведника владычки Иоанна:

*Все ищешь, милый, правду или честь. А правда или честь – здесь, – и владычка показал Евангелие. – Возьми, я тебе подарю. Тебе это нужно, я вижу. Как только поймешь всей душой, что Царствие Божие внутри вас есть, – будет тебе много проще. – Нет, – сказал Артем твердо, – Не надо [Прилепин, 2015, с. 184].*

Религиозность Артема носит какой-то архаический, ветхозаветный характер. Ветхозаветные реминисценции предельно эксплицированы в морских эпизодах романа, где особенно очевидным образом открывается метафизическая смысловая перспектива происходящего:

*Как много в природе страшного, смертельного, ледяного. Как мало умеет голый человек [Там же, с. 618].*

Герой явно уподобляется пророку Ионе в ситуации, когда, всматриваясь в бескрайнюю и беспросветную ледяную мглу, начинает воображать, что они с Галиной всплывают в пасть огромного кита:

*А вдруг они заплывают в огромную раскрытую пасть? Говорят, киты так и питаются: раскрывают свой гигантский рот, и все, что туда вливается, – то и есть китовая еда [Там же, с. 613].*

Многое в судьбе Артема Горяинова невольно заставляет вспомнить также и несчастного библейского праведника Иова. Не случайно в море, а затем и в тюремном карцере герой так часто напрямую обращается к Богу:

Господи, я Артем Горяинов, рассмотри меня сквозь темноту [Там же, с. 614].

Разумеется, можно было бы посчитать склонность Артема к пророческому самовосприятию, порождающую обращения к Господу, всего-навсего нелепой абберацией надломленной психики лагерного зека, однако не он один ощущает мистическую связь собственной судьбы с высшими силами. Об этом, например, говорит Горяинову вышеупомянутый владычка Иоанн – пожалуй, самый пронизательный и авторитетный герой-идеолог романа:

Душа твоя легко и безошибочно вела тебя, невзирая на многие напасти, клеветы и тяготы [Там же, с. 519].

В этой связи любопытно, что кощунственная выходка Артема, когда он изуродовал изображение святого, обнаруженное на стене в Секирке, была обусловлена прежде всего фактором необыкновенного сходства иконописного лика с собственным лицом героя. Похоже, что у Горяинова были основания считать себя не совсем обыкновенным человеком. Возможно, ключевую роль в судьбе Артема играет ситуация, обнаруживающая связь – отдаленную и опосредованную, но все же ощутимую – с историями как пророка Ионы, так и праведника Иова: богоизбранничество, на смену которому приходит затем богооставленность.

Во всяком случае, трудно понять в каком-то ином контексте те эпизоды романа, которые связаны с пребыванием Артема в карцере уже после неудавшегося побега, в окружении обреченных чекистов. Возможно, безудержно-экстатическое глумление героя над ненавистными сокамерниками следует воспринимать как символическую параллель к судьбе Ионы, отказавшемуся пожалеть нечистивых жителей Ниневии и за это сурово вразумленному Богом? Не уверовал ли окончательно Артем после казни своих бывших мучителей-палачей, что он есть меч в длани Господа?<sup>2</sup> Ночью Артему явился ангел (во всяком случае, так ему показалось) и успокоил его, вслед-

<sup>2</sup> «Мечом в длани Господа», как известно, ощущал себя еще один знаменитый писатель-зек – Александр Солженицын: «О дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки твоей!» [Солженицын, с. 408]. В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын изложил историю своей жизни в житийно-мистическом духе: автобиографический герой произведения, направляемый «Высшей Рукой» [Там же, с. 407], побеждает несметные легионы коммунистических бесов.

ствие чего, когда герой проснулся, «внутри сердца была неслыханная свобода» [Там же, с. 665]. И далее Артем трактует уже каждое происходящее с ним событие в сакрально-мистическом ключе – так, обнаружив в утренней каше кусок крысиного помета, герой воспринимает это как некий знак, посланный Богом:

Ну, ничего, Господи, ничего. Я не сержусь на тебя. И ты на меня не сердись. Я оценил твою шутку. Надеюсь, ты ценишь мои [Там же, с. 681].

Если все это так, то финальная деструкция героя после совсем не страшного наказания за побег, возможно, обусловлена именно открывшимся ему ужасом богооставленности. Артем, твердо уверовавший в свой высокий пророческий жребий, был готов как к Божьим милостям, так и к Божьему гневу, но эти добавленные к прежнему сроку три года он расценил как знак равнодушия Господа к своей судьбе: Бог больше не гневается, но и не милует, Он попросту потерял к неудавшемуся пророку Горяинову всякий интерес, а это действительно непоправимая катастрофа.

На вопрос о том, какими биографическими и литературными претекстами мог воспользоваться Захар Прилепин, моделируя в «Обители» столь экзотическую ситуацию, как эдипальная тяжба главного героя с Богом, трудно дать сколько-нибудь определенный ответ, тут возможны лишь предположения. В уже упомянутом интервью Прилепин высказал любопытную мысль о том, что его роман «имеет отношение к Шаламову, которого еще не посадили»: «Я не знаю, знакомы ли вы с его ранней биографией – троцкистские взгляды, отец-священник» [Интервью...]. В этой связи вполне резонным представляется предположение о том, что писатель, создавая образ главного героя, в какой-то степени черпал материал, помимо прочих многочисленных источников, также и из биографического текста автора «Колымских рассказов». Загадочная эдипальная проблематика, осложняющая взаимоотношения Артема с Богом, невольно заставляет вспомнить сложную историю отношений Варлама Шаламова со своим отцом, священником Тихоном Шаламовым.

В последний период своей жизни В. Шаламов высказывался об отце чрезвычайно резко и неприязненно: по его словам, Тихон Шаламов якобы вел себя по отношению ко всем членам семьи, как жестокий деспот и самодур. Вот очень характерный невротический шаламовский монолог, обращенный к отцу:

Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога – я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность – я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру – я карьере делать не буду, безмянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться – я буду ходить в тряпках, в грош не поставлю казенное жалованье. Ты жил на подачки – я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я стал общественным деятелем, – я буду только опровергателем. Ты любил передвижников – а я их буду ненавидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге – я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства – я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи – я их буду любить. Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство и ребенок не попадет в руки такого самодура, как ты. Ты хочешь известности – я предпочитаю погибнуть в любом болоте. Ты любишь хозяйство – я его любить не буду [Шаламов, с. 359].

Между тем версия о самодурстве Тихона Шаламова не подтверждается никакими фактами и вступает в противоречие с воспоминаниями самого же автора колымской прозы, где отец предстает гуманной и нравственно безупречной личностью, подлинным героем, ставшим трагической жертвой страшной эпохи:

Мне все представлялось, что именно отец, блестящий диалектик, умелый оратор светского толка, популярный городской священник, принял на себя столь жестокий удар судьбы, как слепота! Отец – герой [Там же, с. 318];

Отцу мстили все – и за все. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома [Там же, с. 346].

Судя по всему, в детстве Варлам Шаламов боготворил своего отца и мучительно страдал от дефицита родительской нежности, завидуя старшему брату Сергею, всеобщему любимцу. Чрезвычайно характерно признание, сделанное Шаламовым Ирине Сиротинской: «„Я хотел быть в детстве калекой, больным“. – „Зачем?“ – удивилась я. – „Чтобы меня любили!“» [Сиротинская, с. 105]. Неизвестно, как бы сложилась жизнь Варлама Тихоновича, если бы не катастрофические события 1920 года, когда Сергей Шаламов погиб, а Тихон Шаламов от горя потерял зрение:

Отец ослеп после смерти сына Сергея и прожил слепым четырнадцать лет [Шаламов, с. 318].

Возможно, именно потрясение, испытанное в этот момент четырнадцатилетним Варламом

Шаламовым, положило начало процессу формирования трагического мироощущения, основу которого составляет безысходная горечь богооставленности, прячущаяся под маской богоборчества.

Впрочем, весьма резонным представляется также и высказанная критиком А. Свирилинным мысль о том, что «Артем Горяинов до странности похож на героя еще одного прилепинского объемного труда – биографической книги о Леониде Леонове, выдающемся русском советском писателе, чьи произведения далеко не в полной мере вписывались в каноны реализма» [Свирилин]. Леонид Леонов, в отличие от ранее упомянутых в этой статье литераторов, ни дня не провел в советской неволе, однако к тюремно-лагерной проблематике проявлял большой интерес – чего стоит хотя бы образ Федора Таланова (пьеса «Нашествие», 1942), лагерного зека, который, вернувшись домой, не может ни с кем найти общего языка! Прежде всего похожесть героя «Обители» на автора «Нашествия» связана со все той же «шаламовской» ситуацией рокового детского разлада с отцом как первопричины мучительно переживаемой взрослой богооставленности:

<...> Неотступная леоновская мука богооставленности крепко рифмуется с тем фактом, что в детстве его оставил родной отец [Прилепин, 2010, с. 19].

По мнению Прилепина, именно проблема человеческой богооставленности всегда находилась в фокусе внимания писателя Леонида Леонова:

Важный и неизменный леоновский мотив – описание случившегося разлада с Богом [Там же, с. 117];

Леонова всегда, с самой ранней юности, мучило мрачное, медленное чувство богооставленности [Там же, с. 533];

<...> его богооставленность – ледяная, жуткая [Там же, с. 534].

В этом смысле любопытны прилепинские комментарии по поводу мотивов поведения священника Матвея, одного из героев эсхатологического романа Леонова «Пирамида», который пронизывает мысль о неизбежности «самовозгорания человечины»:

В известном смысле, размышления и многие поступки о. Матвея – провокация пред очами Бога. И цель провокации одна – докричаться: дай знать о Себе! Объясни, зачем мы Тебе? Если Ты еще есть. Если Ты еще в силах [Там же, с. 549].

Эти суждения автора «Обители» невольно заставляют вспомнить отчаянные, не укладывающиеся в рамки житейской логики провокативные эскапады Артема Горяинова. Возможно, главной темой прилепинского романа действительно является «человеческая богооставленность», роковой «разлад с Богом».

Разумеется, я отнюдь не утверждаю, что вышперечисленные мотивные связи и ассоциативные параллели, обнаруживающиеся в романе «Обитель», возникли в результате целенаправленного смыслосозидающего авторского акта. Мне кажется справедливой мысль Б. Гаспарова (высказанная в связи с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита») о том, что писатель сознательно выстраивает лишь некую часть мотивной структуры творимого художественного текста: «...Тем самым он как бы запускает ассоциативную „машину“, которая начинает работать, генерируя связи, не только отсутствовавшие в первоначальном замысле, но эксплицитно, на поверхности сознания, быть может, вообще не осознанные автором» [Гаспаров, с. 104]. Но не приходится сомневаться, что все упомянутые в этой статье произведения были хорошо известны Захару Прилепину в момент работы над «Обителью» и в какой-то (пусть даже в очень незначительной) степени могли оказывать влияние на текст этого глубокого и оригинального романа.

#### Список литературы

Быков Д. Переплава, переплава // Новая газета. 17.05.2014. С. 9.

Гаспаров Б. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М.: Наука, 1994. 304 с.

Довлатов С. Собр. соч.: в 3 т. СПб.: Лимбус-пресс, 1995. Т. 1. 416 с.

Домбровский Ю. Хранитель древности. Факультет ненужных вещей: Роман в 2-х кн. М.: Книжная палата, 1990. 608 с.

Интервью с Захаром Прилепиным. Российский писатель о романе, Соловках и о том, почему не нужно никого прощать. Беседовал Константин Мильчин // Ведомости. 18.04.2014. С. 8.

Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». М.: Молодая гвардия, 2010 (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1227). 569 с.

Прилепин З. Обитель: роман. Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. 746 с.

Свирилин А. Одна осень Артема Горяинова // День и ночь. 2014. № 5. С. 42.

Сиротинская И. О Варламе Шаламове // Литературное обозрение. 1990. № 10. С. 97–110.

Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. 688 с.

Тхоржевский С. Неспokoйный писатель // Звезда. 1989. № 7. С. 192–198.

Шаламов В. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. М.: Республика, 1996. 479 с.

#### References

Bykov, D. (2014). *Pereplava, pereplava* [Remelting, Remelting]. *Novaia gazeta*. 17.05.2014. P. 9. (In Russian)

Dombrovskii, Yu. (1990). *Khranitel' drevnosti. Fakul'tet nenuzhnykh veshchei: Roman v 2-kh kn.* [The Keeper of Antiquities. The Faculty of Useless Things: A Novel in 2 books]. 608 p. Moscow: Knizhnaia palata. (In Russian)

Dovlatov, S. (1995). *Sobr. soch.: v 3 t.* [Collected Works: in 3 volumes]. T. 1. 416 p. St.Petersburg: Limbus-press. (In Russian)

Gasparov, B. (1994). *Literaturnye leitmotivy. Ocherki po russkoi literature XX veka* [Literary Leitmotifs. Essays on Russian Literature in the Twentieth Century]. 304 p. Moscow: Nauka. (In Russian)

Interv'iu s Zakharom Prilepinym. Rossiiskii pisatel' o romane, Solovkakh i o tom, pochemu ne nuzhno nikogo proshchat' [Interview with Zakhar Prilepin. The Russian writer on the novel, on Solovki and on why we should forgive no one]. (2014). Besedoval Konstantin Mil'chin. *Vedomosti*. 18.04.2014. P. 8. (In Russian)

Prilepin, Z. (2010). Leonid Leonov: «Igra ego byla ogromna» [Leonid Leonov: "His Game was Huge."]. 569 p. Moscow: Molodaia gvardiia, (Zhizn' zamechatel'nykh liudei: ser. biogr.; vyp. 1227). (In Russian)

Prilepin, Z. (2015). *Obitel': roman* [Resident: A Novel]. 746 p. Moscow: AST: Redaktsiia Eleny Shubinoi. (In Russian)

Shalamov, V. (1996). *Neskol'ko moikh zhiznei: Proza. Poeziia. Esse* [Several of My Lives: Prose. Poetry. Essays]. 479 p. Moscow: Respublika. (In Russian)

Sirovinskaiia, I. (1990). *O Varlame Shalamove* [About Varlam Shalamov]. *Literaturnoe obozrenie*. No.10. Pp. 97–110. (In Russian)

Solzhenitsyn, A. (1996). *Bodalsia telenok s dubom: Ocherki literaturnoi zhizni* [The Oak and the Calf: Sketches of Literary Life]. 688 p. Moscow: Soglasie. (In Russian)

Svirilin, A. (2014). *Oдна osen' Artema Goriainova* [One Autumn of Artem Goryainov]. *Den' i noch'*. No.5. P. 42. (In Russian)

Tkhorzhevskii, S. (1989). *Nespokoinyi pisatel'* [A Restless Author]. *Zvezda*. No.7. Pp. 192–198. (In Russian)

The article was submitted on 07.11.2016  
Поступила в редакцию 07.11.2016

**Большев Александр Олегович,**  
доктор филологических наук,  
профессор,  
Санкт-Петербургский  
государственный университет,  
199034, Россия, Санкт-Петербург,  
Университетская наб., 11.  
olegovich1955@mail.ru

**Bolshev Aleksandr Olegovich,**  
Doctor of Philology,  
Professor,  
Saint-Petersburg State University,  
  
11 University Embankment,  
Saint-Petersburg, 199034, Russian Federation.  
olegovich1955@mail.ru